



Валерий Заморин

ЗАПИСКИ РУССКОГО,
ИЛИ ПОКЛОНЕНИЕ БУДДЕ

Валерий Заморин

Записки русского, или Поклонение Будде

предоставлено правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=24504947

*Валерий Заморин «Записки русского, или Поклонение Будде»: «Геликон
Плюс»; Санкт-Петербург; 2016
ISBN 978-5-93682-844-7*

Аннотация

«Спокойным, чистым, сверкающим выглядишь ты, Сарипутта. Откуда ты идешь?» – «Я был один, Ананда, в мысленном экстазе... пока я не поднялся над восприятием внешнего мира в бесконечную сферу познания, и она, в свою очередь, не растаяла, превратившись в ничто. Пришло прозрение, и я различил небесным зрением путь мира, стремления людей и их появление на свет – прошлое, настоящее, будущее. И все это возникло во мне и прошло без единой мысли о превращении в “Я” или превращении во что-либо, к нему относящееся».

Содержание

1	5
2	8
3	13
4	18
5	23
6	24
7	33
8	42
9	51
10	58
Конец ознакомительного фрагмента.	60

Валерий Заморин

Записки русского, или поклонение Будде

«Спокойным, чистым, сверкающим выглядишь ты, Сарипутта. Откуда ты идешь?» – «Я был один, Ананда, в мысленном экстазе... пока я не поднялся над восприятием внешнего мира в бесконечную сферу познания, и она, в свою очередь, не растаяла, превратившись в ничто. Пришло прозрение, и я различил небесным зрением путь мира, стремления людей и их появление на свет – прошлое, настоящее, будущее. И все это возникло во мне и прошло без единой мысли о превращении в “Я” или превращении во что-либо, к нему относящееся».
Из Типитаки

1

– На допросе Емельян Пугачев отвечал: «Богу угодно было наказать Россию через мое окаянство». Кто нынче скажет: «Через мое окаянство»? – Куприян взял со стола газету, стал читать вслух:– «В одной только Москве в прошлом году убиты собственными родителями 216 детей в возрасте до четырех лет. В возрасте от пяти до девяти лет 171 ребенок – взрослыми, подростками или сверстниками. 630 – столько умерли от убийств или самоубийств подростков в возрасте от десяти до четырнадцати лет». – Куприян положил газету, взгляд его синих миндалевидных глаз устремился куда-то вверх, стал отрешенным.

– Офицер, вернувшийся из Чечни, – сказал Николай, – рассказывал мне, что ему приходилось чуть ли не ежедневно разминировать в грозненском морге трупы русских солдат – боевики начиняли их минами. Меня поразило равнодушно-будничное настроение, каким он говорил об этом, полное отсутствие эмоций. «Машина с железным безразличием выполняет любую работу», – подумал я.

– При подобной работе эмоции – опасное излишество, – сказал Филипп. – Все правильно, други мои, все закономерно: мы, русские, надо честно признать, дерьмовыми экспериментами над собой вполне добросовестно заслужили собственную долюшку-судьбинушку. И нечего, как говаривали

в старину, вопиять и стенать – не лучше ли нам вновь призвать князя Рюрика со дружиною? – Филипп усмехнулся, покачал головой. – Бедные люди в бедной стране, покрытой снегом и льдом; никогда, мне думается, на ее огромных евразийских просторах не восторжествует мудрость. Что-то всегда толкает нас то в одну, то в другую бездну.

Друзья продолжали говорить, а перед внутренним взором моим возникло озеро, окруженное лесистыми холмами; над водной гладью его кружит одинокая чайка, там – в безмятежной ли красоте озера, в полете ли чайки – сокрыта истинная мудрость, недоступная нам, невыразимая словами. Единственный, кому открылась она во всеобъемлющей полноте, – это великий Будда. Будучи еще Гаутамой, скитался он, страдал, мучительно ища ее, пока не обрел Просветление, став Татхагатой. Ему одному, Просветленному, верю и поклоняюсь я. Как хотелось бы мне вслед за ним, Всезнающим, воскликнуть: «Я все победил, я все знаю; при любых дхаммах я не запятнан. Я отказался от всего – с уничтожением желаний я стал свободным. Учась у самого себя, кого назову я учителем?»

Увы, я не могу сделать этого. Что знаю я, не приобретший ни земных благ, ни небесных? – ничего. Что победил в себе я, по-русски ленивый и нерешительный? – ничего. (Знать, про таких, как я, сказал Всеблагой: «Если кто лентяй, обжора и соня, если кто, лежа, вертится, как большой боров, накормленный зерном, – тот, глупый, рождается снова и сно-

ва»). От чего отказался я? – увы и увы, крепки цепи сансары, сковавшие меня.

2

В сквере – толпа митингующих. Мы остановились поодаль.

– Оглянитесь вокруг! – восклицал щупленький с землистым лицом оратор. – Мы разучились работать и жить. Мы отравили землю нашу химическими и ядерными отходами, наша страна мало-помалу превращается в огромную свалку. Мы бездарно растранили то, что оставили нам предки наши, – оратор как-то странно воздел руки и покачнулся – чувствовалось, что питается он плохо и много курит. – А разве вам не видна та печать вырождения, что стоит на пьяной русской физиономии? Пора перестать петь дифирамбы загадочной русской натуре, надо трезво взглянуть на себя со стороны!

– Да за такие слова – я тебя, сука!.. – замахал кулачищами в толпе слушателей огромный детина. Он взгромоздился на трибуну, оттолкнул щупленького от микрофона и начал вещать трубным голосом: – Братья! Не слушайте этого хлюпика! У великой России свой особый путь! Вшивые американцы пытаются окружить нас со всех сторон врагами, им нравится, что западные хохлы топчут сапогами во Львове нашу святыню – Андреевский флаг, что азиатские князьки лепечут там что-то о своей «победе» над Россией... тьфу! Но пусть американцы, эти сраные супермены, дрожащие за свою

шкуру, знают, что русские в отличие от них никогда не боялись умирать. Русский перенес столько страданий, что его ничем не удивишь и не испугаешь!

Детину на трибуне сменил старичок в роговых очках.

– Дорогие мои, – почти нараспев начал он, – не надо сгущать краски. Русский человек добр и долготерпелив, в его жилах течет кровь славянина, викинга, ария, финна и тюрка, поэтому он может позволить себе, если хотите, с мазохистским равнодушием славянина и финна подставлять то одну, то другую щеку для пощечин. Правда, есть черта, переступить которую недругам не стоит, ибо за этой чертой кончается долготерпение русского и вскипает в нем бешеная кровь викинга.

Из группки молодежи, насмешливо внимавшей страстным речам ораторов, отделился парень, атлетического сложения гигант, и, пародируя последнее высказывание старичка-оратора, попытался изобразить взбешенного викинга. Он оскалил зубы, придав лицу зверское выражение, и, дико вращая глазами и угрожающе рыча, стал надвигаться на маленькую пухленькую блондинку в огромных очках. Девчушка, испуганно взвизгнув, попятилась назад, запнулась обо что-то и грохнулась наземь. Платье ее задралось, толстые ляжки оголились, очки съехали на кончик носа – смех, вырвавшийся из молодых глоток, перекинулся на всю толпу и, заразив ее, гомерическим хохотом взметнулся над сквером. Смех объединил недавних идеологических противников, да-

же старичок-оратор подхихикивал около микрофона. Филипп посмотрел на старичка и, усмехнувшись, сказал:

– Соло для фальцета.

Мы покинули толпу митингующих и направили стопы наши в городской парк.

В заброшенно-диковатом восточном углу парка под огромной кедровой сосной стояла скамья, на ней мы и расположились. Кажется, давно ли толстый слой снега лежал на земле, а сейчас трава покрывает ее изумрудным ковром, на котором, будто желто-оранжевые языки пламени, полыхают цветущие одуванчики. Недолговечна красота этих солнце-подобных цветиков, милых северным сердцам, – скоро-скоро белыми парашютиками отлетит она...

Откуда-то из динамика донесся до нас голос диктора, объявившего музыкальный номер в исполнении итальянского трубача Нино Росси.

Пение трубы, выведившей до боли нежно-пронзительную мелодию, обволакивало и гипнотизировало нас; казалось, даже деревья и травы внимали ему.

– Мурашки по коже... – сказал задумчиво Куприян, когда динамик умолк. – Мистическая мелодия... Неожиданно вновь вспыхнуло во мне то чувство, которое я испытал, когда десятилетним парнишкой вычитал в одной книжонке, что однажды Земля покинет свою орбиту и упадет на Солнце: все окружавшее предстало вдруг передо мной во всей своей наготе полнейшей бессмысленности – ужас охватил меня!

Удивительно, в детстве какие-то миги прозрения частенько вспыхивают в тебе... словами не объяснить этого. Например, читал я у деда в саду Пушкина и вдруг «вспомнил»: все это знакомо тебе, ты был там. Твое тело ощущает тепло одежды той эпохи, оно еще не забыло дикой скачки на горячем скакуне, – а разве не ты сидел перед камином и отрешенно смотрел на огонь?...

– Нечто подобное и со мной случилось однажды, – сказал Филипп. – Июльская ночь, поезд мчится по Русской равнине, серебряной от лунного света; до Орла еще около сотни километров. Я, румянощекий, восемнадцатилетний, стою в тамбуре, зачарованный, впавший в транс от охватившего меня необъяснимого чувства. Сердце мое бешено бьется, в висках стучит, я слышу, чудится мне, беззвучный шепот равнины: «Я твоя родина (не Урал, где ныне твой дом), здесь ты родился и жил много столетий назад, ты просто забыл об этом». М-да... вероятно, грязь взрослого существования погребла в каждом из нас истинное сознание, нечто изначальное и безусловное скрылось глубоко в сердце.

Николай неожиданно засмеялся и сказал:

– Года три назад натолкнулся я на карте на городок Луза, что в Вятском краю, и, верите ли, с тех пор что-то колдовское тянет меня туда, будто там я буду необычайно счастлив. Иногда во сне я живу в этом городке такой полнокровной жизнью, какую ни Москва, ни Париж, ни Нью-Йорк не могут дать мне, – Николай пожал плечами. – Бредни ли, фантазии

ли иногда втемяшатся в голову человека, трудно избавиться от них.

Господи, думал я, слушая друзей, наша глупая русская мечтательность, наши беспорядочные мысли, что значат они? А я? Сумею ли я когда-нибудь вырваться из плена ежедневных пустопорожних грез?

Учил Благословенный: «Пусть мудрец стережет свою мысль, трудно постижимую, крайне изощренную, спотыкающуюся, где попало. Стереженная мысль приводит к счастью».

3

– Вы говорите, наше поколение сделает жизнь в России более осмысленной? – сказал Юрий, сын Алевтины. Взгляд добрых глаз юноши был отсутствующим, в голосе – то ли грусть, то ли легкий оттенок сарказма. – Я сомневаюсь в этом. Ваше поколение было фанатично предано спорту и литературе хотя бы. Мало кто из моих сверстников умеет стоять на лыжах или на коньках, – а где вы сейчас увидите толпы молодых людей, жаждущих приобщиться к новинкам поэзии? Я много раз безуспешно пытался стать «своим парнем» в рядах моего поколения, посещал дискотеки, различные религиозные и неформальные объединения... Куда только одиночество не толкало меня соваться! И всюду испытывал еще большее одиночество. Все так фальшиво и примитивно – неестественные веселость и восторженность, подогретые алкоголем и наркотиками; дым сигарет, бравирование грязным матом, тупая трясучка – тоска и тоска! Ощущаешь себя не то уродом, не то иностранцем в собственной стране: вокруг меня люди – я не понимаю ни их языка, ни их мыслей и устремлений, ни их образа жизни. Единственный, кто был мне братом по духу, – это Майя, но вы знаете, что она уехала в Израиль, живет сейчас в Хайфе.

– Кто-то отсюда – в Хайфу, а наш Лева – сюда из Хайфы, – засмеялся Филипп. – Скажи, Лева, почему ты вернул-

ся? Знаменитый археолог, все там у тебя было – почему?

– Почему? Я и сам толком не могу объяснить себе этого, – сказал Лев. – Может, моя многострадальная кровь еврея стала закисать от сытой и комфортной жизни, может, зов пращура (в Израиле я вплотную занялся своей родословной и оказалось, что один из моих предков командовал на Куликовом поле каким-то там конным отрядом на правом фланге), а может, на роду мне написано метаться от берега к берегу, хотя... – красивое лицо Льва озарилось улыбкой. – Как-то давненько рассказал мне знакомый хирург про одного пациента своего, чудаковатого старика. В палате все над стариком подшучивали, колдуном его прозвали, потому что он пытался то одному, то другому судьбу предсказать. Однажды старик говорит хирургу:

«Доктор, вам надо каждый день Боженьке молиться». «Зачем мне, уважаемый, Богу молиться? – говорит хирург. – Я атеист». «Не будете, доктор, молиться – заколоротит вас, потому как я вашу судьбу вперед вижу. Сто тропинок вокруг вас будут лежать, и не будете знать без Боженьки, на какую ступить, закрутит-заколоротит вас, упадете и не встанете боле». Вот, Филипп, пожалуй, и ответ: «колоротит» меня. Кстати, Юрий, – обратился Лев к юноше, – я встречал в Хайфе Майю. Она замужем. Сказала, что часто вспоминает тебя.

Пятнадцатилетним пареньком приходил Юрий под окна Майи, стучал по водосточной трубе, и когда девушка высывала свою головку в форточку, падал спиной в сугроб, рас-

кидывал руки и громко декламировал стихи, которые рождались тут же, экспромтом. Стихи, конечно же, были посвящены ей, необыкновенной Майе.

А однажды он нанял за несколько пачек дорогих сигарет двух парней, доморощенных певцов, чтобы те исполнили для Майи серенаду. Плата устроила парней, и они в холодную январскую полночь затащили под аккомпанемент гитары под окнами Майи... жалостную блатную песню. Других песен, как оказалось, они не знали. Майя потом частенько подшучивала над Юрием, вспоминая столь оригинальный вариант серенады.

– Эх, Юрий! – сказал Николай. – Пройдут годы, постарешься, будешь говорить деткам своим: «А вот во времена моей молодости... А вот наше поколение...» Прошлое, детство и юность твои, будет видеться тебе в розовом свете – и куда только денется жесткость суждений и оценок! В течение жизни мы все ищем для себя некую истину, опираясь на которую, как на посох, можно шагать по земному пути. Кто-то, кому повезет, находит ее, кто-то – нет, бредет вслепую. В одной книге говорится, как пожилой человек отвечает юноше: «С тех пор, как я родился, прошло шестьдесят лет, но ты спрашиваешь, сколько я живу? Жизнь ведь существование, а существование вне истины ничто; этого-то и не было у меня до последних двенадцати лет».

Николай прошелся по комнате, остановился у окна, закурил папиросу.

– Да, Юрий, часто за деревьями мы не видим леса, – поддержал Николая Лев. – В развалинах Вавилона был найден горшок, возраст которого свыше трех тысяч лет, на нем была надпись: «Эта молодежь растленна до глубины души. Молодые люди злокозненны и нерадивы. Никогда они не будут походить на молодежь былых времен. Младое поколение сегодняшнего дня не сумеет сохранить нашу культуру».

– Я знаю мое поколение изнутри, – упрямо качнул головой Юрий, – а вы, оценивая его, скользите по поверхности. Роман, мой однокурсник, сказал однажды: «Мы серые, художные дети беспутных отцов. Мы существуем в параллельных мирах, между нами нет даже извечного конфликта отцов и детей».

«Милый юноша! – подумал я. – Сколько еще предстоит испытать тебе с твоим-то сердечком!»

Вспомнилось: Юрий, тогда еще восьмилетний мальчуган, держит в ладонях умирающего воробышка, склонив над его тельцем русоволосую головку свою; горько плача, он что-то ласково шепчет, будто слова его могут вернуть жизнь в этот остывающий комочек плоти. Я пытаюсь успокоить мальчика, говоря, мол, не только воробьи умирают, но и каждый из нас умрет в свое время, а если бы никто не умирал, то другим воробьям и другим людям, родившимся позже, не хватило бы места на земле. Мои слова приводят к обратному результату – неутешный плач ребенка переходит в громкие рыдания.

Я взглянул на Юрия: где тот мальчик? Как быстро летит время! Из глубин памяти всплыла строфа из Типитаки:

*И пусть даже сотню лет
Ты проживаешь или больше,
Все равно от близких уйдешь,
Расставшись с жизнью здешней.*

Я давно привык к быстротечности времени – в сердце моем нет грусти.

«Пересекая поток существования, – учил Просветленный, – откажись от прошлого, откажись от будущего, откажись от того, что между ними. Если ум освобожден, то, что бы ни случилось, ты не придешь снова к рождению и старости».

4

– Все-таки уезжаешь в Германию? – спросила Алевтина, обращаясь к Татьяне, дочери Николая.

– Да! – нервная тень скользнула по лицу Татьяны. – Не могу больше лицезреть ни толстозадых учительниц, калечащих детей в школах, ни самодовольных сыто-холеных физиономий депутатов, толкующих о благе народа, ни толсто-мордых нуворишей, разъезжающих в «мерседесах», – меня тошнит от одного только вида всей этой сволочи, своры воров и демагогов. А злые лица на тротуарах или в общественном транспорте... вам не становилось страшно, когда чей-нибудь взгляд с беспричинной ненавистью пронзает вас насквозь? Хочу жить в нормальной стране, хочу, чтобы сыновья мои учились в нормальной школе.

– И проживут они добропорядочными бюргерами скучную жизнь, – сказал Николай.

– И слава Богу, папа! – Чувствовалось, что дискуссия между дочерью и отцом длится не первый месяц. – Мне нет еще и тридцати, а я уже наполовину седая, истеричка, мало-помалу превращающаяся в психопатку. От любой детской шалости моих мальчиков я взрываюсь, как котел с дерьмом. Я ежедневно травмирую сыновей, а ведь я люблю их больше собственной жизни. Человеческая жизнь у нас не стоит ломаного гроша: сплошные убийства и убийства – я боюсь чи-

тать газеты, боюсь смотреть телевизор.

«Жизнь и смерть человека такая же иллюзия, как и все остальное», – подумалось мне. «Он не убивает, его не убивают», – откуда это? Не могу вспомнить. Потом как-нибудь обдумаю это хорошенько, попытаюсь проникнуть в глубину.

– Что ж, чему тут удивляться, – сказал Филипп, – у нас всегда так было: как только прекращался террор сверху, обязательно начинался террор снизу.

– Все уже было под солнцем на Руси, – сказал Лев. – Поделят собственность, утихомятятся, река вернется в родные берега. Будущие историки, вероятно, будут изучать наш период как Второе смутное время. Мне есть с чем сравнивать. Я все чаще и чаще прихожу к выводу, что, несмотря на всю нашу многоплеменную российскую безалаберность, только здесь человек проживает не желудочную, а по-настоящему человеческую жизнь. Трудно объяснить это. Пожалуй, каждый из тех, кто родился на Руси, где бы ни жил он потом – в Штатах, в Германии или в Израиле, – может вслед за поэтом сказать об этой бедной земле: «Где я страдал, где я любил, где сердце я похоронил», – Лев подошел к книжной полке, окинул взглядом корешки книг, добавил: – Поверь мне, Таня, что-то неуловимое, заколдованное будет тянуть тебя в Россию, по себе знаю.

– Ну уж нет, я это «что-то» и на порог не пущу! Все это квасная философия. Все у нас нынче философствуют, и в прошлом философствовали, и в будущем будут продолжать

философствовать, а вокруг ничего не меняется, все та же русская мерзость. Мудрый Конфуций – недавно я натолкнулась на одно его изречение – окончательно убедил меня в правильности моего решения уехать, – Татьяна взяла с полки книгу, отыскала нужную страницу, процитировала: – «Будь глубоко правдив, люби учиться, стой насмерть, совершенствуя свой путь. Страна в опасности, ее не посещай, в стране мятеж, там не живи. Когда под небесами следуют пути, будь на виду, а нет пути – скрывайся. Стыдись быть бедным и униженным, когда в стране есть путь; стыдись быть знатным и богатым, когда в ней нет пути».

– Вряд ли это изречение истинно, – сказал, покачав головой, Филипп, – нам нигде не спрятаться от самих себя.

– А также от времени, в котором нам суждено проживать нашу жизнь, – добавил Лев. – Но мы можем меняться.

– Наша Танечка всегда была упрямой, – в дверях кухни появилась Надежда с ярким жостовским подносом в руках, в центре которого стоял пузатый кофейник, окруженный фарфоровыми чашками, как новогодняя елка хороводом. – Пусть едет!

После кофе я попрощался с друзьями и отправился домой, где в малюсенькой холостяцкой квартирке моей поджидала меня Линда, немецкая овчарка, – исстрадалась от одиночества, наверно, бедная!

Я не спеша шел по аллее сквера; аромат цветущей липы вызывал во мне какие-то ускользающие ассоциации, нечто

из детства, неуловимо-зыбкое.

(Детство... Быть может, тогда сердце мое обладало мудростью Будды, кто знает... Но, увы, на жизненном пути я растерял эту мудрость. Что я сейчас? – сосуд, заполненный грязью жалких знаний, желаний, несбыточных грез.)

Тут и там группы мужчин и женщин, расположившихся на скамьях или прямо на траве под кронами деревьев, распивали водку, запивая ее пивом. Грязный мат раздавался отовсюду.

Я подошел к фонтану, на бетонном обрамлении его стоял мужичонка в куце пиджаке. Он взывал:

– Сограждане, пьяницы и алкоголики, мы попали в рабство к алкоголю, но это не значит, что мы должны окончательно потерять стыд! Почему некоторые из вас прямо здесь среди бела дня справляют нужду – разве вы не видите гуляющих по скверу детей?! Неужели четвероногий скот более целомудрен, чем наше двуногое стадо? – Опомнитесь!

Кто-то метнул в мужичонку камень, но он, к счастью, пролетел мимо и шлепнулся в воду. Мужичонка с необычайной проворностью соскочил с бордюра и бросился прочь.

– Господи! – перекрестившись, прошептала шедшая впереди меня опрятно одетая старушка в белом платке.

Придя домой, я первым делом накормил Линду, встречавшую меня в прихожей всегда громким лаем, в котором без труда можно было различить почти человеческие возгласы упрека в моем долгом отсутствии, выгулял ее во дворе, по-

сле чего, сев в комнате на диван, наугад раскрыл книгу с переводами из Типитаки, стал читать вслух:

«...Нельзя найти того мгновенья, начиная с которого создания, заблудившиеся в невежестве, скованные жаждой бытия, пускаются в свои странствия и блуждания. Как вы думаете, ученики, больше ли воды в четырех великих океанах, или слез, пролитых вами, когда вы бродили и скитались в этом долгом паломничестве и скорбели и плакали, ибо то, что было вашим уделом, вы ненавидели, а то, что вы любили, не было вашим уделом. Смерть матери, смерть брата, потеря родственников, потеря собственности – все это пережили вы в течение долгих веков. И, переживая в течение долгих веков все это, скитаясь и бродя в паломничестве, скорбя и плача, ибо то, что было вашим уделом, вы ненавидели, а то, что вы любили, не было вашим уделом, – вы пролили больше слез, чем есть воды в четырех великих океанах».

5

Вновь в полном одиночестве сижу на берегу лесного озера у костерка. Опять та же одинокая чайка, невесть как залетевшая сюда, кружит над водной гладью.

Из-за деревьев выходит седобородый старик, подходит ко мне, безо всякого вступления рассказывает бесцветным голосом:

– На прошлой неделе умерла моя старуха. Мы прожили с ней, моей голубушкой, пятьдесят лет. Двух сыновей родили. Зачем? – Старик смахнул ладонью слезу, упавшую на бороду. – Старший сын спился и повесился, младшенького сыночка в гаражике, где он мотоцикл держал, убили. Из-за этой железяки и убили. Старуха через две недели после похорон сыночка померла, оставила меня одного на белом свете.

Старик безнадежно машет рукой, уходит.

Я смотрю на маленькие языки пламени умирающего костерка, шепчу про себя слова Татхагаты: «Все вещи нереальны, они – мираж; единственная правда – Нирвана».

6

Жара – за тридцать по Цельсию. На небе ни облачка. Лишь у самого зенита – сиротливый облачный штришок, как будто кто-то слегка коснулся кистью небосвода.

Мы с ним спрятались от палящих лучей солнца на тенистом пригорке под сенью двух старых разлапистых елей. Слева от нас – лес, сладко пахнувший нагретой солнцем хвоей, справа течет безымянная речушка. На этом берегу ее между грациозными бузиновыми деревцами (догадался бы кто-нибудь сочинить сказку: «Давным-давно жила-была на белом свете русская балерина, которая потом превратилась в прекрасное, сиротливо-одинокое бузиновое деревце...») козы и овцы лениво щиплют траву; а на том берегу, на косогорье, пасется стреноженный цыганский жеребенок, такой же черный, как вон те два ворона, что сидят на обломке ствола, тесно прижавшись друг к другу. Эта мудро-отрешенная пернатая парочка чем-то напоминает стариков, много повидавших на своем веку.

Сверху вниз по косогору сбегает к неглубокому пруду осиновая рощица. В пруду купаются дети и собаки. То и дело взлетающий высоко над прудом и шлепающийся в воду резиновый оранжевый мяч, сверкающие на солнце брызги воды, крики, смех, визг, лай – все это сливается в неумолчный гомон.

– Сколько же лет, дружище, мы не виделись с тобой?... – произнес он задумчиво.

– С тех пор, как ты уехал в Москву, прошло ровно тридцать лет, – сказал я, вспоминая тот знойный июльский день, когда вся наша компания провожала его.

На привокзальной площади он, повернувшись лицом к городу, изрек не без патетики:

– Прощай, Пермь, – самый маразматический город России! Я покидаю твое болото навсегда, будь оно проклято!

Лицо его было искажено гримасой отвращения. Потом он обратился к нам:

– Парни, выбирайтесь из этой трясины, не оставайтесь здесь, не то будете, как чеховские три сестры, всю жизнь киснуть и ныть. Недаром Антон Павлович, задумывая пьесу, предположил, что его героини, умненькие генеральские дочки, будут проживать именно в таком городе, как Пермь.

Куда-то туда за осеннюю дымку улетели безвозвратно тридцать годков. Черная шевелюра его стала абсолютно белой, лицо избородили глубокие морщины, под глазами набухли мешки... нет, ничего не осталось в нем от того стройного юноши, нашего быстрого надежного полузащитника.

– Москва дала тебе то, о чем ты мечтал? – спросил я.

– Москва недалеко ушла от Перми, то же убожество, только со столичным душком; везде царствует серость. Сам подумай, почти столетие на Руси властвуют холопы. Помнит-

ся, оказался я как-то среди многочисленных гостей в доме известного московского поэта, и привязалась там ко мне одна университетская дама, экзальтированная особа: «Купите обязательно компьютер! Обязательно! Он безгранично увеличивает возможности человека, делает жизнь насыщенной, обогащает ее!» Тогда эти электронные штучки были еще в новинку. «Да, вы правы, – сказал я. – Всеобщая компьютеризация населения избавит людей от их страхов и страданий». – «Как вы это верно подметили!» – восторженно взвизгнула она, не заметив иронии в моих словах.

Он достал из кармана золотой портсигар, щелкнул зажигалкой и, выпустив колечко дыма, продолжал:

– Поэт потчевал гостей поэмой «Империя братства», в которой он с необыкновенной страстью воспевал деяния большевиков (говорят, нынче вышла в свет его новая поэма, где он с такой же страстностью прокликает большевиков и их сатанинские деяния), как вдруг в гостиную влетела его семилетняя дочка и с детской бесцеремонностью, не обращая внимания на гостей, закричала: «Папа! Я тоже сочинила стишок, послушай: “Черную землю покрыл белый снег, стало тепло и красиво!” Иногда мне на ум приходит этот «стишок», я вспоминаю нашу уральскую зиму, спокойствие овладевает мной.

«Верно, нет фальши в искренних словах, родившихся в сердце, – мысленно согласился я с ним. – Не зря сказано в Каноне: «Одно полустышье, услышав которое становятся

спокойными, лучше тысячи стихов, составленных из бесполезных слов».

– В последнее время, – с грустью сказал он, – я часто вспоминаю наше послевоенное детство: окраину Перми, кирпичный завод «Красный строитель», бараки с их неистребимым запахом сырости, жаренного на прогорклом масле лука... Помнишь, как мы, пацаны в заплатанных сатиновых шароварах и вылинявших майках, в течение месяца с утра до вечера пропадали на городской свалке, выискивая кусочки меди и алюминия? А помнишь, как мы спорили со старым добрым армянином, что у него весы фальшивые, когда сдавали ему металл? А разве можно забыть то чувство, когда на вырученные за металл деньги купили мы настоящий футбольный мяч: «Дай поддержать! Дай поддержать!» – вырывали мы друг у друга из рук кожаное чудо. Несмотря на постоянное чувство голода, на потрескавшиеся от грязи руки, усеянные бородавками, какой полнокровной жизнью мы тогда жили, сколько счастья было в наших сердцах! Жаль, никогда оно не поселится там вновь. А наше футбольное поле в логу... как Филипп стоял в воротах, какая реакция, недаром его прозвали обезьяной! Однажды я из-за чего-то обиделся на него и во всю длину забора около его дома написал масляной краской огромными буквами: «ОБЕЗЯНА». Он тогда отлупил меня, приговаривая: «Я быю тебя не за то, что ты вымазал мой забор, а за то, что у тебя хромает орфография». Помню, как помогал Куприяну собирать в кепку на склонах лога, под ло-

пухами, какие-то коричневые грибы. Набрав полную кепку, мы, довольные собой, отправились к нему домой. Перешагнув порог и протянув кепку с грибами матери, Куприян сказал с гордым видом: «Жарь грибы, мама, на всю семью хватит». – «Спасибо, сынок, кормилец ты наш! – засмеялась его красавица-мать. (Признайся, мы все были влюблены в нее по-мальчишески.) – Это поганки, милый. Придется их выбросить». Вот тогда-то я и дал себе клятву, что когда вырасту, то стану таким богатым-пребогатым, чтобы даже голубь побоялся мне на темечко капнуть... Кто-то из вас мечтал стать летчиком, кто-то – моряком, а я мечтал о богатстве. Никто из вас не стал ни летчиком, ни моряком, и, хотя вы смеялись над моим желанием разбогатеть, только я достиг своей цели, воплотив в некотором роде и ваши мечты: у меня в Подмосковье завод по выпуску радиоуправляемых авиа и судомоделей, а также собственная сеть магазинов в крупнейших городах России. В сбыте продукции нет проблем: зажиточные дяди и тети не скупятся в расходах на своих чадушек, лишь бы ублажить их, – маменькины сынки, сам знаешь, не будут пытаться сделать что-то своими руками, им подавай готовенькое. Сейчас я богат. В двух заграничных банках лежит кругленькая сумма; правнукам хватит на безбедное существование. Недавно купил в Испании огромное старинное поместье, так что в случае чего бежать из нашей загадочной и непредсказуемой России есть куда. Жена у меня умница-красавица, два сына-богатыря, казалось бы, живи да

радуйся, но что-то в последнее время случилось со мной, не пойму, что-то грызет меня изнутри... Жена, когда я начинаю хандрить, говорит мне: «Тебе надо чуть-чуть поглупеть». Но я не считаю себя шибко умным. Мировая скорбь не терзает мне душу. Необъяснимая тревога... откуда она во мне? Не знаю. Подумал, может, ностальгия по детству мучит меня, взял да и прилетел сюда на недельку. Вчера целый день бродил, так сказать, по руинам детства: нет ни кирпичного завода, ни барачков, даже от лога следа не осталось – засыпали.

– Чем занимаешься твои сыновья? – спросил я.

– Ничем. Я дал им хорошее образование, думал, из них толк выйдет. Где там!.. Младший может часами стоять поздним вечером на балконе, смотреть на звездное небо, на падающие звезды, потом вдруг заявить: «Я ничем не отличаюсь от метеора, который только что сторел в ночном небе».

– Не лучше ли ночью спать, – говорю я ему, – а днем делом заниматься?.

«Ненавижу Москву днем, – отвечает. – Днем Москва вызывает во мне гнетущее чувство, будто вокруг тебя все ненастоящее, будто оказываешься в театре теней, где тени пытаются изображать из себя живых людей, а в глазах их горит одно-единственное желание: денег! денег! Красная площадь и Кремль – всего-навсего декорации в этом театре, так и ждешь, что вот-вот появится над ними огромная тень и завопит: “Денег!” Воздух Москвы, ее улицы, стены домов – все пропитано алчностью. Я, папа, люблю ночь: тени боятся ее и

прячутся в свои норы». Огорошит, не знаешь, что и сказать! А старший мой сынок помешался на бионике. Все время у него уходит на создание «мускульного махолета». Пытается скопировать стрекозу. Я ему говорю: «Ну хорошо, дорогой, допустим, что ты сумеешь создать необыкновенный композиционный материал и изготовить легкие крылышки, как у стрекозы, но человек не сможет махать ими так же резво, как это шустренькое насекомое». А он мне в ответ: «Ты примитивный прагматик, отец!» Лучше бы они родились и выросли в нищете, как я. Боюсь, что все заработанное моим горбом пустят они по ветру.

«Почему нередко случается, – подумал я, – что даже неглупый человек, разбогатеv, становится жалким?»

Все иллюзорно в этом мире, нет ничего постоянного. И сколько бы мы, глупые, из столетия в столетие ни гонялись за ветром бытия, нам никогда не удастся схватить его руками. Глубок смысл слов Будды: «Сыновья мои, богатство – мое – так мучается глупец. Он ведь сам не принадлежит себе. Откуда же сыновья? Откуда богатство?»

Где-то над нами – воронье гнездо, и нам было слышно, как хлопочет над ним ворона, прилетевшая с кормом для своих птенцов.

А в поднебесье, лениво чертя круг за кругом, парил коршун и высматривал добычу. Вдруг он устремился вниз в нашу сторону. Бдительная ворона с безудержной храбростью матери, защищающей свое потомство, бросилась навстречу

хищнику и вступила с ним в бой. Она, смешно махая крыльями, с такой яростью нападала на коршуна, что у того, бедного, пропала вся его кровожадность и он желал лишь одного – оторваться от нее. С трудом, теряя перья, несчастному хищнику удалось бесславно выйти из поединка, и он трусливо ретировался в лазурную высь.

Ворона же, ничуть не потерявшая боевого пыла, еще долго трепыхалась (по-другому не скажешь) в воздухе, возмущенно каркая. Наконец она утомилась и вернулась к родному гнезду.

– Будешь пить зеленый чай? – спросил я.

– Буду. А ты консервативен, вкусы твои не меняются.

Мы сходили к роднику за водой, развели костер и в большой эмалированной кружке заварили зеленый чай. На ключевой воде чай получился необычайно ароматным. С каждым глотком терпкого напитка в сердце вливалась та умиротворенность, которой так не хватает человеческому сердцу. У ног наших на красном шаре кашки копошился шмель.

– Что за дело этому умненькому пухленькому шмелю до людей, называющих его трапезу опылением клевера, – задумчиво произнес он. – Он наслаждается нектаром, не наносит никому ущерба.

Вдруг где-то там, низко-низко над городом, со страшным грохотом пролетели два реактивных истребителя.

– Железные птицы нашей злобной цивилизации, – сказал он и неожиданно добавил: – Бросить бы все к чертовой ма-

тери! Уйти навсегда в нашу уральскую тайгу и жить там в идиллическом одиночестве, анахоретом...

Нет, он не пробыл в Перми неделю. Мы напрасно прождали его у Алевтины (целый день она хлопотала, готовя изысканный стол), в которую он был когда-то безумно влюблен. На другой день мы узнали, что в шесть вечера он улетел обратно в Москву.

– Не захотел встретиться со старыми друзьями, – с недоумением произнес Лев, пожав плечами и разводя руки.

Мы с Филиппом приехали в Санкт-Петербург через неделю после разыгравшейся там трагедии – была убита депутат Государственной думы. «Быть может, это был единственный человек, – сказал Филипп о бедной женщине, – достойный стать президентом России в следующем тысячелетии».

Благодаря удачному стечению обстоятельств мы ко вторнику управились со всеми делами, в кассах Московского вокзала купили обратные билеты на четверг, а всю среду решили посвятить бесцельному блужданию по улицам фантастического города.

В среду мы встали в семь утра. Хозяйка, у которой мы снимали комнату, приготовила нам кофе со сливками и бутерброды с сыром. Позавтракав, мы отправились в путь.

Бродить по городу, который любишь и считаешь родным, хотя не довелось родиться и жить в нем, – наслаждение. Куда только ноги не заносили нас! То пустынный Приморский проспект, то многолюдная Сенная площадь с ее торговыми рядами, то... Особенно странное, необъяснимое чувство вызвали во мне огромные пустующие дома на улице Марата, которые собирались не то сносить, не то капитально ремонтировать. Зияя пустыми глазницами окон, они, казалось, зывали: «Не губите! В наших стенах обитают духи города. Куда им, несчастным, идти, где найти приют, если не станет

нас?»

В полдень мы пообедали в столовой какой-то конторы, занимавшей нижний этаж в старинном доме вычурного стиля, и снова отправились в путь.

В два пополудни ноги наконец-то вынесли нас на Невский проспект. Филипп купил дорогую сигару, с трудом, неумело раскурил ее и принял карикатурно-картинную позу: левой рукой он подбоченился, правую с сигарой отвел в сторону, оттопырив мизинец, и произнес басом:

– А где бы это найти нам художника, чтобы мог написать с меня картину «Провинциал с сигарой на Невском!»?

Три девчушки, по виду студентки-первокурсницы, обогнавшие нас, обернулись, внимательно посмотрели на Филиппа, попытались, было сохранить при этом некую нейтральность во взгляде, но, не удержавшись, рассыпались звонким смехом.

– Ну, распоясался, шут гороховый! – смешавшись, одернул себя Филипп и, повернув голову вправо, сделал вид, будто увидел там нечто, полностью поглотившее его внимание.

Через полчаса мы оказались на Аничковом мосту.

– Отдохнем! Ноги гудят, – сказал Филипп. Мы остановились. На мосту стояла старуха и бросала вниз диким уткам, плававшим у кромки льда, хлебные крошки. Утки, смешно перебирая красными лапками, наперегонки устремлялись к корму. Неподалеку от старухи стоял бродяга и наблюдал за ней. Вот он подошел к старухе и спросил, кивнув в сторону

уток:

– Скоро тут все затянет льдом. Они не погибнут?

– Нет, уплывут в Неву.

Было видно, что бродягу не интересовала судьба уток, он задал свой вопрос, как говорится, для отвода глаз. Его интересовала судьба хлеба в руках старухи. Старуха взглянула на бродягу, отломала от буханки большой кусок и протянула ему со словами:

– Кушай на здоровье, милоч.

Бродяга, не поблагодарив старуху, схватил хлеб, отошел в сторону и стал с жадностью поедать его. Я заметил, что Филипп пристально смотрит на бродягу. Вдруг он со странной интонацией в голосе произнес:

– Каким же это ветром, голубчик, занесло тебя в Петербург?

– Ты знаешь его?

– Еще бы! Этот тот самый чиновник, кто отобрал у меня лабораторию, превратив ее помещение в собственный автомагазин. А ведь тогда наши исследования подходили к концу, м-да... – грустная улыбка появилась на лице Филиппа и тут же исчезла. – Помнится, я с трудом попал к нему на прием, стал было, глупый романтик, объяснять, что наши исследования – это начало экологической революции... «Каждый третий что-то пишет, исследует- делом бы лучше занимались, чтоб области и городу польза была!» – перебил он меня. Физиономия – глыба льда, обдающая холодом, тонкие

губы – омерзительной складочкой, кривятся в презрительной ухмылке. Помнишь, в детстве мы говаривали про такой ротик: «Губки – как у курочки попка!» Я вышел от него в бешенстве и всю дорогу домой со злостью шептал одно и то же:

«Ходячий желудок! Мешок с дерьмом!» Тогда я дал себе зарок – никогда больше не открывать чиновные двери.

– Что с ним случилось? Почему он сейчас в таком положении?

– О, это старая, как мир, история про российского чиновника-ворюгу! Он запустил лапу в областную казну, понастроил для себя и родственников своей молоденькой жены дач, квартир, магазинов в центре города и зажил припеваючи среди окружающей нищеты, для страховки подкармливая толстобрюхого важного чина из правоохранительных органов. Но аппетиты его были так непомерны, что, несмотря на высокое заступничество, прокуратуре пришлось-таки завести уголовное дело. Состоялся суд – дали ему, правда, немного: два года с содержанием в колонии общего режима. Кое-что из имущества конфисковало у него государство, но большую часть прибрала к рукам его жена.

Бродяга уставился на Филиппа, потом вдруг как-то боком подбежал к нам и полувопросительно воскликнул:

– Кажется, земляк?! – И тут же добавил: – Не угостите стаканом чая?

– Угощу. Пойдемте, – коротко бросил Филипп.

Мы отыскивали небольшое кафе и расположились за свободным столом. Бродяга тут же протянул руку к соседнему столу, вытащил из стоявшего на нем пластмассового стаканчика бумажные салфетки и сунул их в карман. Хозяйка кафе, худенькая красивая блондинка с тонкими чертами лица, бросила на бродягу неприязненный взгляд, но прирожденная тактичность истинного автохтона Великого Города заставила ее отвести глаза; она с улыбкой обратилась к Филиппу:

– Что будете заказывать?

Филипп пробежал глазами меню, заказал бродяге борщ, бифштекс и чай. Себе мы взяли кофе по-турецки. Когда бродяга насытился, Филипп спросил его:

– Давно вы в Петербурге?

– Второй месяц. Вы узнали меня?

– Да.

– Я вас тоже узнал. Наверно, слышали, как со мной несправедливо поступили, сволочи! Жена – девка деревенская! – умудрилась оформить развод, все себе загребла. Завела красивенького альфонса. Меня даже на порог не пустила, паскуда! Ее родственнички, которых я из грязи в люди вытащил, угрожали мне, мол, еще раз заявишься, в милицию сдадим за хулиганство. Вот и делай людям добро! Тогда я пошел к своему старшему брату, чистоплюю. Денег он мне дал, но при этом идиотской моралью накормил, обидел меня: «Ты опозорил нашу семью! – говорит. – Я всю жизнь честно

проработал на заводе за жалкие гроши, а у тебя хватило низости даже сиротские дома обворовывать». – «Знаешь, почему ты работал за жалкие гроши? – сказал я ему. – Потому что ты полуграмотный, примитивный мужик, большего не стоишь. Деньги для того и существуют, чтобы обходить дураков стороной». Никого я не обворовывал. Завистники оклеветали меня, метили на мое место.

Бродяга расправил плечи, напыжился.

– Я, не щадя себя, сутками работал на благо области! Они еще вспомнят обо мне!.. – Он допил свой чай и продолжал: – Сюда я приехал к одной питерской дамочке. Я с ней познакомился заочно, по переписке. Я не умею писать любовные письма, поэтому уговорил писать их за меня одного скрипача, он полгода отбывал в нашей колонии свой срок – сбил пьяного мужика на своей машине. Я отправлял эти чертовы письма, не читая. Цыпа питерская из-за этих самых писем и выставила меня через неделю за порог, говорит: «Из писем, что вы мне писали, у меня сложился образ тонкого интеллигентного человек, невинно пострадавшего. А вы оказались грубым, недалеким человеком. У нас нет ничего общего. Вот вам триста долларов на обратную дорогу – уезжайте». И чего этот скрипач такого «тонкого» наворотил в письмах, не пойму. Подложил мне свинью, сучий сын! – Лицо его исказила неприятная гримаса, он сжал ладонь в кулак и помахал им. – Чтоб я уехал из Питера – черта с два, дура! У меня два высших образования, все документы при мне. Деньги я

зашил во внутренний карман, пусть лежат, тратить их не буду. Мир не без добрых людей, с голоду не умру. Я еще поднимусь здесь, весь Питер услышит обо мне. Кое-кто в ногах у меня будет валяться!

Филипп подозвал хозяйку, оплатил счет и поднялся из-за стола.

– Куда вы?! – вскинулся бродяга.

– Извините, мы спешим, – сказал Филипп и направился к выходу.

– Удивительно, даже страдание, выпавшее на его долю, ничему не научило бедолагу, – сказал Филипп, когда мы вышли из кафе и не спеша продолжили свой путь по Невскому. – Низкий человек, на какой бы ступеньке общественной лестницы он ни стоял, будь он губернатором, будь он бродягой, все равно останется низким.

– Да, – согласился я. – Будда в своей последней проповеди говорил: «Сердце делает человека и Буддой, и скотом. Заблудившись, человек становится демоном, а просветлев – Буддой».

– Господи, знал бы ты, какую боль в сердце ощутил я однажды, когда, проходя мимо его автомагазина, увидел выброшенное во двор наше уникальное оборудование под ливнем! Ночью я не мог уснуть, ходил из угла в угол, курил беспрестанно. «Хочешь пополнить ряды непризнанных русских гениев, рано умерших от чиновничьего произвола? – сказала Наталья и предложила: – Я уезжаю в фольклорную экспеди-

цию в Мезень, поехали со мной. Издалека ты посмотришь на все по-другому». Я подумал-подумал да и принял предложение жены.

В Мезени мы жили у доброй старой женщины. Днем она делала удивительные игрушки из дерева (их оптом скупал у нее молодой парень, прилетавший из Архангельска), а вечером, если такое понятие применимо к полярному дню, пела старинные поморские песни. Наталья записывала их на магнитную ленту.

Филипп остановился, придерживав меня за руку, мечтательно произнес:

– Ах, дружище, слышал бы ты эти песни!.. Я, слушая их, закрывал глаза и представлял, как поморы через Мезенскую губу уходят в Белое море за рыбой, как быются их вольнолюбивые сердца потомков древних новгородцев, когда оказываются они среди бескрайней вольной стихии. Каким пустым и суетным в сравнении с древней мудростью этих песен казалось мне все мое прежнее существование. «Глупый, – говорил я себе, – все, что должно возникнуть, возникнет, все, что должно быть открыто, будет открыто, так же как чему суждено погибнуть – погибнет». Я где-то читал о волшебстве Севера, но когда сам оказался там, понял, что жалкие слова не могут передать его колдовской силы. Зачарованный Север... там совершенно другой мир, совершенно другие люди. Я вспомнил тебя, подумал, что Будда, которого ты безмерно почитаешь, обитает именно на Севере.

«Нет, дорогой Филипп, – мысленно не согласился я с другом, – дух Будды везде и во всем, в каждом из нас. “Сущность Будды не в плоти, – сказал Благочестивый, – она в просветлении. Плоть разрушается, но просветление вечно существует в правде и в деле Дхармы. И тот увидит меня, кто смотрит не на мою плоть, а познает мое учение”. У меня мало мужества, чтобы, как он, покинуть дом свой и искать то, что искал он, Всепробужденный; но если когда-нибудь я решусь и ступлю на путь, ведущий к Просветлению, то наконец-то обрету уверенность в том, что не было бессмысленным мое прежнее существование. “Сорви все узы, – сказано в Типитаке, – разорви все сети, как рыба, запутавшаяся в тенетах, разрывает их; будь ты подобен огню, никогда не возвращающемуся на сожженное место, и в одиночестве держи путь свой, подобно носорогу”».

Подул холодный северо-восточный ветер; петербуржцы, делая на ходу покупки, спешили после рабочего дня домой – на город опустился вечер.

– Пора и нам возвращаться, – сказал Филипп.

8

В субботу вся наша компания вновь собралась у Алевтины. Слушали русские народные песни в исполнении Олега Погудина. Женщины не скрывали слез.

– Кажется, будто тысячетлетняя Русь только для того и существовала, чтобы в конце нашего столетия этот молодой парень сумел выразить пением своим ее неизбежную многовековую тоску по иному существованию, – со вздохом сказала Наталья, когда кассета закончилась. – Наверное, сам русский Бог дал ему сердце и голос.

– Уж чего-чего, а тоски-то у нас всегда хватало, – сказал Куприян. – Не было только нормальной жизни. Фантазмагория какая-то... – задумчиво, словно разговаривая сам с собой, протянул он и пояснил: – Позавчера перед сном перечитывал биографию Ивана Грозного и его письма князю Курбскому, а ночью мне приснился странный сон. Кого там только не было: и плачущая Жаклин Кеннеди, и какой-то древнеегипетский фараон, скорбящий над умершим сыном, и Никита Хрущев, и Иван Грозный. Царь то до исступления молился, проливая горькие слезы, то устраивал дикие оргии, на которых с каким-то необъяснимым сладострастием богохульствовал да развлекался тем, что сажал на кол или бросал на растерзание волкам друзей и недругов. А в стороне, за письменным столом, сидел Федор Достоевский, смотрел

на царя и улыбался. Неожиданно он обратился ко мне:

«Слышал, нынче у вас в ходу словечко “менталитет”, все пытаетесь понять, каков он у русского человека? – Он указал перстом на Грозного: – Изучайте его характер, его деяния, в нем отгадка. Читайте Грозного – это великий писатель. Быть может, вам повезет и тогда вы найдете в его писаниях тот ключик, который поможет вам избавиться от русских бед. В Грозном всеобъемлющая русскость: Раскольниковы и Карамазовы, Чацкие и Онегины, Чичиковы и Обломовы, Хлестаковы и все вы, нынешние, умные и глупые, святые и злодеи, бесребреники и корыстолюбивые – все в нем».

– Ого, ну и сон у тебя! – засмеялся Филипп. – А мне часто снится один и тот же сон: наш домик около «Красного строителя», у ворот – ожиревший от лени кот Васька, коза Манька, своенравная и непослушная, сверхмудрый пес Джек; они смотрят на меня, идущего к дому, с радостным изумлением; а у распахнутого настежь окна сидит с книгой в руках брат Георгий. «Оказывается, дом цел, брат не застрелился и животные не умерли!» – проносится у меня в сознании. Я бегу к дому: «Вы живы!..» – кричу я, и чувство счастья переполняет меня.

– Я тебе советую, Куприян, ничего не читать на ночь, – сказала Надежда. – Будешь спать спокойно, и никто не явится тебе во сне, ни Чацкий, ни Онегин.

– Хм, Чацкие, Онегины... – усмехнулся Николай. – Другие нынче времена, другие люди. Газетный заголовок:

«Девочка попросила любимого парня убить ее мать, поскольку боялась рассказать ей, что исключена из школы...» Или, например, парень из Карачаево-Черкесии дает объявление, что готов продать свои органы, гарантируя тайну сделки. Пишет, что не курит, не пьет, физически здоров, но не может найти работу. Воровать же, грабить, а тем более – хотя имеет опыт боевых действий в Афганистане – убивать, чтобы иметь средства к существованию, не хочет.

– Бедный парень, помоги ему, Боже, – вздохнула Алевтина.

– Отчаяние – опасная штука, смертный грех, нельзя ему поддаваться, – сказал Лев. – Мы боимся страдания, суеتمدимся, мечемся, мечтаем о каком-то несбыточном счастье, а ведь если хорошенько поразмыслить, только страдание может по-настоящему научить нас чему-то. Я на себе это испытал. Как-то на раскопках в Египте наша экспедиция волею трагических обстоятельств была обречена пять дней существовать без пищи, с мизерным запасом воды. И, поверьте, я благодарен судьбе за то, что она обрекла меня на это страдание. Голод и жажда просветили меня: пока есть краюха хлеба и кружка воды – нет таких препятствий, которые невозможно было бы преодолеть. Вот величайшая истина, которую я открыл для себя! В трудные минуты жизни она мне не раз помогала...

– Ах, наши милые седые мальчики! – засмеялась Алевтина. – Сколько людей, столько и истин! Ничему они нас не

учат, по-моему. Да и что за дело нынешним жителям России до истин, великих или маленьких, когда идет элементарная борьба за выживание. Коммунистические жрецы и правители переквалифицировались в демократов, по-прежнему – у кормила власти, а результат один и тот же – нищета населения. Россия, самая прекрасная страна на свете, изуродована, обесцелена, а ее талантливейший народ обречен на вырождение.

– Есть порода людей, для которых поиски истины, – сказал Куприян, – дороже всех материальных благ. Мы ведь тоже мучительно пытаемся осмыслить нашу действительность.

– А мне кажется, что все человечество обречено веки вечные обретаться, образно выражаясь, в огромной запыленной стеклянной банке, – Надежда бросила на мужа недовольный взгляд. У Николая тут же исчезла с губ ироничная улыбка. – С глубокой древности ученые мужи, исследуя пылинку за пылинкой, делают открытия, приближаясь, как им кажется, к некой универсальной истине; но нам, бедным, никогда не вырваться за невидимые стенки этой банки. А там, вероятно, существует нечто такое, о чем мы никогда не узнаем, перед чем бессильны наши разум, фантазия, интуиция.

– Ошибаешься, Надежда. Думается мне, однажды я побывал за стенками, как ты выражаешься, «банки», – задумчиво произнес Филипп. – Давно это было... Сидел я в лаборатории за письменным столом, бездумно уставившись в окно на белошекую синицу, примостившуюся на бетонной стене, по-

крытой красновато-коричневой керамзитовой крошкой, как вдруг со страшным хлопком, как будто раздался пушечный выстрел, лопнуло колесо у проезжавшего грузовика; синица испуганно вспорхнула, а я, вздрогнув от неожиданности, испытал на миг нечто странное, какое-то молниеносное озарение, увидел воочию Запредельное Единое... по-другому не смогу сказать, слов нет описать Это.

«Быть может, Филипп, ты увидел то, – подумал я, – о чем говорил Будда: “О монахи, есть нечто нерожденное, безначальное, несотворенное и необусловленное”».

– Кто-то сказал: первое, что умирает в человеке, – это желание сняться с места, – сменил тему разговора Лев. – Скажите, друзья, когда мы в последний раз вставали на лыжи? Лет пятнадцать назад?

– Если не больше! – сказал Филипп.

– Может, отправимся завтра на лыжную прогулку в лес? – Лев обвел нас вопросительным взглядом. Мы согласились.

Воскресенье. Мороз около пятнадцати. Густая бирюза на восточном склоне неба плавно переходит в яркую, будто лакированную, лазурь; на фоне небесной лазури красуется прекрасный золотой диск солнца, под его лучами блестит и искрится ослепительно белый снег; под снегом крыши деревеньки на холме, под толстым снежным одеялом, убаюкав свою бесчисленную живность, уснула до весны мать-земля.

Легко скользят лыжи. Снег поскрипывает под ними.

– После бесснежного Петербурга наша уральская зима –

волшебная сказка! Ах, красота! Красота! – подняв лыжные палки и потрясая ими, восторженно воскликнул Филипп. – Лева, земной поклон тебе за то, что вытащил нас сюда!

– Поклоны можно отменить, – засмеялся Лев. – Давайте лучше до самой весны приезжать сюда по выходным.

– Согласны, Левушка! Никто не посмеет отказаться! Хватит киснуть в городских квартирах! – воодушевилась Надежда. – Даже не верится, что совсем рядом с городом существует сама по себе такая красота.

– Надо только экипироваться по-современному, – сказала Наталья. – Мы в старомодных спортивных костюмах, на обшарпанных деревянных лыжах, взятых напрокат, выглядим белыми воронами. Посмотрите, какие яркие разноцветные лыжники вокруг, на стильных пластиковых лыжах! А мы будто выплыли из прошлого, из наших незабвенных шестидесятых.

– Все это ерунда, Наташенька! Наши деревяшки скользят не хуже пластиковых, – крикнул, ускоряя бег, Филипп.

Лыжня пошла под уклон. Мы лихо, почти не отталкиваясь палками, промчались через березовый перелесок, обогнули сосновую рощицу и оказались у многолюдной ложины.

Как дети, вырвавшиеся из душных комнат на волю, забыв про время, с самозабвением катались мы на пологих склонах; казалось, на плечах наших не было и нет тяжелого груза прожитых лет и детское чувство единения с окружающим миром никогда не улетучивалось из наших сердец.

Увы, все кончается. Как-то незаметно обезлюдела лощина, солнце, растеряв позолоту, побагровело и ушло на запад, небо потемнело, стало отчужденно фиолетово-серым. Пришлось и нам возвращаться на базу.

Лыжная база «Юность» – это всего-навсего деревянная изба, где можно взять лыжи напрокат, сдать верхнюю одежду и лишние вещи в раздевалку, напиться кипяченой воды из алюминиевой кружки, прикованной цепью к металлическому бачку, – вот, пожалуй, и весь сервис, которому народ наш не без иронии дал определение: «ненавязчивый».

Лев с Куприяном принесли из раздевалки рюкзаки, извлекли оттуда термосы с чаем и бутерброды.

После стольких часов, проведенных на морозе, что может сравниться с горячим чаем! Согревающим теплом растекаюсь по жилам, он погружает тебя в блаженство сладкой истомы.

– О, господа! – обведя нас глазами, со смехом сказала Наталья. – На ваших пожилых лицах, я вижу, расцвел детский румянец!

– Запах избы... Чувствуете? – Алевтина коснулась ладонью бревенчатой стены. – Запах древней Руси... Почему-то только в деревенской избе или в лесу чувствуешь свою неразрывную связь с предками.

– В этом нет ничего удивительного, – сказал Куприян. – Арийские племена древних германцев довольно комфортно обосновались на культурных развалинах Римской импе-

рии, а арийские же племена проторусских понесла нелегкая с предгорий то ли Альп, то ли Карпат (теорий много; где наша прародина, мы никогда не узнаем) в дикий, почти безлюдный, северный край, покрытый лесом. Лес – это наша истинная родина. Он сформировал наш характер.

– По-моему, наши предки ниоткуда не приходили, а всегда жили в лесу вместе с волками и медведями, – сказал Николай. – И хотя мы настроили городов, мало что изменилось в нас с былинных времен, грызет изнутри какая-то неосознанная, вернее сказать, подсознательная тоска по дикой воле в лесу. Только в наших пригородных лесах можно встретить летом и осенью так много людей, которые, по-детски обманывая себя, что пошли «по грибы – по ягоды», бродят и бродят в лесном сумраке, хотя прекрасно знают, что в этих лесах давным-давно нет ни грибов, ни ягод. Кстати, в наших глухих лесах до сих пор сохранились доверительные, почти дружеские отношения между медведем и русским мужичком. Рассказывают, однажды медведь принес к человеческому жилью лесника, которого скрутил приступ аппендицита. – Николай обвел взглядом бревенчатые стены, взглянул на молодую пару, тщательно протиравшую свои красивые дорогие лыжи, добавил: – Изба... лес... Вот уж воистину: «Там русский дух! Там Русью пахнет!».

Неожиданно что-то вспыхнуло во мне: неужели я так глупо, так бездарно проживу свою жизнь?! Неужто слова Кано-на: «Не потому он старший, что голова его седа. Он в пре-

клонном возрасте, но называют его “состарившимся напрасно”, – относятся впрямую ко мне? У меня есть работа, кров, пища, – что, я боюсь разорвать эти жалкие путы привычной жизни, которые мешают мне подчиниться сердцу, зовущему вступить на Путь Будды?...

Завлекающе пестрые вещи – власть, богатство, известность, – их жаждут, к ним стремятся многие люди; но мне не нужны они, я абсолютно равнодушен к ним, пустым, иллюзорным. Так чего же я жду? Вся моя жизнь не стоит первого шага на пути к Просветлению. Дорог в России много, я могу выбрать любую и шагать по ней вслед за уходящим солнцем, вооружившись словами Всеведущего: «Откинь, что лежит пред тобою; не оглядывайся с сожалением на оставленное; не привязывайся к тому, что всегда тут, около тебя, – тогда только будет путь твой и тих, и покоен».

9

– Город утопает в грязной снежной жиже и собачьем дерьме...

Куприян с жалостью взглянул на зашедшегося в кашле Филиппа:

– А нашего бедного Филиппа душит сухой кашель – невесело, друзья мои...

– Бросай курить, Филипп, – осуждающе качая головой, сказал Лев, – не то наживешь астму или туберкулез.

– Пытался! Не получается! – безнадежно махнул рукой Филипп.

– Вот что, друзья, поехали-ка на дачу моей сестры, в Шатуново, – оживился Куприян. – Сестренка с мужем уезжает отдыхать на Кипр, ключи от дачи мне оставляет. Впереди – майский праздник: Пермь, пьющая и жующая, одуревшая от скуки и безделья, четыре дня будет утюжить асфальт подошвами башмаков да шинами колес бесцельно снующего туда-сюда автомобильного стада – что, приятная перспектива? Мне кажется, желтые головки цветущей мать-и-мачехи на зеленых полянах – более приятное зрелище, не правда ли? Кстати сказать, отвар из листьев мать-и-мачехи – отличное отхаркивающее средство. Будем отпаивать этим отваром Филиппа, а курить ему, голубчику, не дадим. Все папиросы у него выбросим. Купить же их в той сторонushке, Богом за-

бытой, негде.

– Сразу бросить трудно, – жалостно протянул Филипп, – хотя бы одну пачку взять с собой...

– Ни одной папироски! Бросать так бросать! Резать так резать! – засмеялся Лев.

Тридцатое апреля. Вагон электрички – как это ни странно – наполовину пуст. Мы забросили рюкзаки на полку и сели. Напротив нас сел косоглазый мальчик, а чуть позже рядом с ним уселся деревенский малый в лихо сдвинутой на макушку кожаной кепке. Он внимательно посмотрел на мальчика и неожиданно обратился к нему с вопросом:

– Мальчик! А, мальчик! Почему ты косой?

– Когда моя мама была беременной, – отвечал мальчик, – она прыгала через пень, запнулась об него животом и стрясла мне глаза. Я ведь тогда в животе сидел.

– Что-о!.. – захохотал, сгибаясь пополам, деревенский малый. – А зачем твоя мама, беременная, через пень прыгала? – Казалось, еще секунда – и хохот разорвет парня изнутри.

– Я буду служить в ракетных войсках, когда вырасту, – игнорируя глупый вопрос, рассуждал мальчик вслух, – и запущу ракеты с атомными бомбами в Америку и в Англию и все там сожгу.

Мы переглянулись.

– Почему ты хочешь сжечь эти страны? – спросил Филипп.

– Ирина Петровна, директор нашего детдома, сказала что

Америка и Англия бомбят православных сербов. А моя бабушка Варвара – православная. Вот и получают за это! – отвечал мальчик и погрозил в окно кулачком.

– Уж он-то со своими глазами точно не промахнется, сразу в две разные точки попадет! – снова захохотал деревенский малый.

– Тебя как зовут, дорогой? – обратился к нему Куприян.

– Степан.

– Тебе не кажется, Степан, что физический недостаток человека – не тот объект, на котором упражняются в остроумии?

– Да я так... ничего... – смутился Степан. Он восхищенным взглядом обвел богатырскую фигуру Куприяна, вздохнул завистливо:

– Эх, мне бы быть таким здоровым, как вы, – я бы Ваньку-колхозника!..

– А ты не в колхозе работаешь? – спросил Лев.

– Не-а, мы с братом из колхоза семь лет назад вышли. Фермерствуем на пару, – Степан презрительно скривил губы. – Колхозники вместе с председателем и его женой, бухгалтершей, давным-давно спились, бражничают, не просыхая. Загляни вы в колхозный коровник – от ужаса помрете. Темно, одна лампочка еле светит, гниль, навозу чуть не до потолка, коровы – как из Бухенвальда, одни ребра торчат, а из глаз слезы так и катятся, так и катятся. Бедные коровы, ну прямо как люди плачут! Я один раз, глядя на них, сам

чуть не заплакал. Поубивал бы всю эту колхозную шваль, чтоб не издевались над животными! Мы-то с братом коневодством занимаемся – лошадей любим. Дела у нас хорошо идут. На днях еще двух жеребцов за большие деньги продали. Итальянцам продали, – Степан тяжело вздохнул, достал из внутреннего кармана фотографию и протянул ее нам со словами: – Я – с Ленкой, женой моей, перед новым домом.

На цветной фотографии улыбающийся во весь рот Степан стоит в обнимку с курносой девчонкой в голубеньком платьице перед красивым двухэтажным домом из красного кирпича.

– Как понять женщин? – снова тяжело вздохнул Степан. – Ленка за мной с седьмого класса бегала, все про любовь талдычила. Я на нее ноль внимания. Мне Светланка нравилась. А когда я из армии вернулся, Ленка все-таки оженила меня на себе. Два года прожили нормально. А потом взбесилась бабенка, стала к Ваньке бегать. Изменничает. Я ей говорю: «Раз ты любишь Ваньку, уходи к нему. Ведь ты меня не любишь». – «Нет, люблю! Люблю! Ваньку я просто жалею». Пять лет она мне душу мотает. Иногда неделями у Ваньки пропадает. Потом возвращается тихая, покорная. Брат говорит мне: «Всыпь ты ей хорошенько по заднему месту, чтоб из нее вся дурь вылетела». А у меня рука на нее не поднимается. Я бы Ваньке всыпал – да где там! Он здоровый бугай, нам даже вдвоем с братом с ним не сладить. И выгнать я ее не могу: когда Ленки дома нет – не жизнь, а зеленая тоска,

места себе не нахожу. Сам себе противен. Может, она меня каким-то зельем колдовским опоила? Не могу я понять ее...

– Говорят, женщины к нам с другой планеты прилетели, – с улыбкой сказал Лев. – Нам никогда не понять их.

– Это уж точно! – согласился Степан.

Женщины... Ничего, кроме страдания и разочарований, не принесли мне любовные похождения моей молодости. Я попусту растрчивал себя, гоняясь за призрачным счастьем. Когда же проникся глубокой правдой слов Великосущного:

«Сами недолговечные, как можете вы в своей мимолетности обнаружить тех, кто достоин вашей любви? Тысячи перерождений пройдут без взгляда на того, кого вы так нежно любите», – я укрепился в одиночестве.

– Ездил я в областную администрацию по делам, – продолжал Степан. – Направили меня куда-то наверх, то ли к Зоткиной, то ли к Зотовой – забыл фамилию. Час сижу около ее кабинета, другой сижу... То знакомый к ней придет, она с ним два часа болтает, то – знакомая, она с ней болтает. Ну, леший возьми! Мы – я да еще за мной бородатый мужик был – пять часов просидели! Наконец попал я к ней в кабинет, она смотрит на меня стеклянными глазами, спрашивает:

«А вы кто?» – «Степан я, – говорю, – приехал из Березовки по делу» – «Ой! – говорит. – Извините, мне надо срочно уезжать!»

Круглое загорелое лицо Степана еще больше потемнело, в лучистых васильковых глазах застыл недоуменный вопрос:

мол, как прикажете это понимать?

– Да-а... наши пермские чиновники – уникальное явление, – усмехнулся Филипп.

– Тьфу, только время впустую потерял! Больше в город носа не покажу. Ходят в ваших пермских конторах бабы при каблуках да мужики при галстуках, развели вы там дармоедов! – Степан с подозрением уставился на нас. («А вы, голубки, случайно, не тем же ли лыком шиты? Не из того ли роду-племени ягодки?» – читалось в его глазах). Потом он перевел взгляд на мальчика, спросил его: – А ты, малец, куда едешь?

– Я из детдома сбежал. Там такие, как ты, – мальчик ткнул указательным пальцем Степана в грудь, – обзывали меня: «Косошарый! Косошарый!» Я буду жить в Березовке, у бабушки Варвары.

– Опоздал ты, малец, баба Варя неделю назад умерла, – Степан с жалостью посмотрел на мальчика, тяжело вздохнул; он долго молчал, потом, – словно разговаривая сам собой, заговорил с грустью в голосе:

– Пятьдесят лет проработала баба Варя в колхозе, а когда померла, то эта шарашкина контора даже рубля не дала на ее похороны. Мы с братом на свои деньги старушку похоронили: в церкви покойницу поп отпел, красивой оградкой могилку огородили, крест православный из нержавеющей стали поставили – все чин по чину. Пусть спит. Добрая старуха была.

Степан взглянул на мальчика потеплевшим взглядом и

неожиданно предложил:

– А живи-ка ты, малец, у меня! Будешь моим сыном. Хочешь?

– Хочу, – сказал мальчик. – А ты не будешь больше обзыватьсья?

– Никогда в жизни! – Лицо Степана приобрело мечтательное выражение, стало одухотворенно-красивым. – Может, и Ленка моя образумится – она у меня бесплодная, – раз сыночек у нас появился. Будет ей о ком заботиться, кого жалеть.

Мальчик доверчиво обнял Степана ручонками, положил ему голову на грудь и уснул.

Электричка подходила к Березовке.

Степан, бережно держа мальчика на руках, осторожно встал, шепотом попрощался с нами и вышел в тамбур. Я был уверен: Степан действительно никогда не обидит мальчика недобрим словом. Доброе сердце – это бесценный капитал. Степан обладает им. О таких людях, как он, сказано в Типитаке: «Кто добрым делом искупает сделанное зло, тот освещает этот мир, как луна, освобожденная от облаков».

Мерный стук колес... Сладкое дуновение весеннего ветерка в чуть приоткрытое окно... Фиолетовые сумерки...

– Странно, – сказал Лев, – никто не догадался спросить мальчика, как его зовут...

Из Шатунова мы вернулись утром четвертого мая. Не успел я раздеться, как раздался звонок.

– Я вас в окно увидела, – Вера, соседская двенадцатилетняя девчушка, привела Линду. Девочка души не чаяла в моей овчарке, и когда я надолго исчезал куда-нибудь, она с удовольствием соглашалась, как она говорит, «нянчиться с собакой». – Ваша Линда, сколько ее ни корми, все равно будет голодными глазами смотреть, когда ест кто-нибудь, – со смехом сказала Вера, ласково поглаживая собаку. – Папа ел суп в кухне, а она уселась у его ног, и водит глазами туда-сюда вслед за ложкой, как она то в тарелку с супом опускается, то в рот отправляется. Папа сказал:

«Линда, наверное, думает: глупые люди, придумали какое-то приспособление для еды; опустил бы морду в чашку – и лакал бы, как я!»

Я угостил девочку мороженым. Потом мы сыграли с ней две партии в шахматы.

Она, имея первый спортивный разряд по шахматам, в два счета обыграла меня.

– Может, мне поддаться, проиграть вам разок понарошку, чтоб не страдало ваше мужское самолюбие?

Вера подперла ладошкой подбородок и как-то по-старушечьи сердобольно уставилась на меня.

– Зачем? Мне интересен сам процесс игры, а результат меня не волнует.

– Вы из другого мира. А я хочу всегда побеждать!

«Вера! Вера!..» – в открытую форточку залетел с улицы мальчишеский крик.

– Это меня! – Вера потрепала Линду: «У-у... овчарища!» – и, крикнув на ходу: «Пока, старичок!», убежала.

Я накормил Линду и выгулял ее во дворе.

Хотел было испечь сардины в духовке, но, прокрутив это нудное кулинарное действие в голове, передумал. Выпив чашку крепчайшего чая с молоком, я отправился к Николаю.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.